

Говард Филлипс Лавкрафт

Музыка Эриха Цанна

(The Music of Erich Zann)

Я проштудировал множество карт города не только современных, но и устаревших, поскольку названия, разумеется, изменялись, — однако «Осейль» так и не нашел. Более того, я досконально обследовал старинные кварталы и, не обращая внимания на названия, вдоль и поперек исходил все районы, где могла бы находиться улица, запомнившаяся мне как Осейль. Но тщетно! Все усилия не привели ни к чему, и пришлось констатировать унижительный для меня факт: ни дома, ни улицы, ни даже района, где, будучи студентом факультета метафизики, я влачил последние месяцы того памятного нищенского существования и где мне довелось услышать музыку Эриха Цанна, я не могу отыскать.

Провалы в памяти отнюдь не удивительны: жизнь на улице Осейль весьма и весьма сказалась на моем физическом и психическом здоровье. И все-таки странно, совершенно не понимаю, почему не могу отыскать эту улицу, — ведь до нее всего полчаса ходьбы от университета, да и дорога настолько примечательна, что, пройдя по ней хотя бы раз, ее едва ли можно забыть. Спросить решительно не у кого: ни один из немногих знакомых тех времен не заходил ко мне на Осейль, и я еще не встречал никого, кто что-либо слышал о ней.

Улица Осейль находилась за массивным каменным мостом через мутную, грязную реку, по обоим берегам которой шли отвесные кирпичные стены каких-то складов с непрозрачными рифлеными окнами. У реки всегда было сумрачно: дым близлежащих фабрик, казалось, никогда не пропускал сюда солнца. Кроме того, река источала отвратительные запахи — настолько специфические, не похожие ни на какие другие, что, возможно, они когда-нибудь помогут в моих поисках: я, безусловно, их сразу узнаю. На той стороне тянулось несколько узких, мощенных булыжником улиц с трамвайными путями, затем начинался подъем: сначала плавный, но на подходе к Осейль очень крутой.

Сама же Осейль отличалась невероятной узостью и крутизной. Недоступная, разумеется, ни для какого вида транспорта, местами переходя в пролеты ступеней, она поднималась чуть ли не вертикально и заканчивалась тупиком — увитой плющом высокой стеной. Вымощена улица была весьма хаотично: то каменными плитами, то булыжником, а иногда попадались участки голой земли с пробивающейся серовато-зеленой травой. Высокие, немислимо старые дома с островерхими крышами неправдоподобно кренились вправо, влево, вперед и назад. Кое-где, наклоняясь навстречу друг другу, дома почти смыкались, образуя над улицей некое подобие арки; они-то в основном и загораживали свет. Кроме того, над улицей нависало несколько переходов, связывающих противоположные дома.

Странное, очень странное впечатление производили и обитатели улицы Осейль. Сначала я подумал, что причиной тому их молчаливость и скрытность, но позже нашел другое объяснение: все они были совсем-совсем старыми. Не понимаю, как меня

угораздило поселиться на подобной улице, но в то время я был настолько стеснен и измотан, что не задумывался над такими вещами, — меня постоянно выселяли за неуплату, и я переезжал из одной убогой квартиры в другую, пока наконец не попал в ветхий, разваливающийся дом на Осейль, принадлежащий Бландо, разбитому параличом старику. Третий дом, считая сверху, самый высокий на улице.

Дом пустовал, и на пятом этаже, где находилась моя комната, я был единственным постояльцем. Переселившись, первой же ночью я услышал необычную музыку, доносившуюся из мансарды под островерхой крышей. Расспросив на другой день Бландо, я выяснил, что там жил немец, музыкант, странный немой старик по имени Эрих Цанн, вечерами игравший на виоле в оркестре захудалого театратора. По словам Бландо, ночью, возвратившись из театра, Цанн любил поиграть для себя и поэтому поселился под самой крышей, в уединенной мансарде с единственным слуховым окном, из которого, однако — и только из него на всей улице, — можно было взглянуть поверх тупиковой глухой стены на крутой склон и панораму внизу.

Впоследствии я слушал Цанна каждую ночь, и хотя его концерты мешали мне спать, причудливость музыки определенно завораживала. Не особенно разбираясь в этом искусстве, я тем не менее был уверен, что гармонии Цанна существенно отличаются от всех мне известных, и потому стал относиться к старику как к талантливому и весьма оригинальному композитору. Чем больше я слушал, тем больше проникался его игрой, пока наконец — приблизительно через неделю — не решил познакомиться с ним.

Однажды поздно вечером я подкараулил возвращавшегося с работы Цанна и, как бы невзначай столкнувшись с ним в коридоре, сказал, что хочу познакомиться и, если возможно, послушать что-нибудь в его исполнении. Теперь я видел его вблизи: невысокий, худой, сгорбленный, в потрепанной одежде, голубоглазый и почти лысый, он напоминал сатира гротескными чертами лица. Первые же мои слова разгневали его и напугали, однако явная доброжелательность в конце концов все-таки смягчила старика — жестом предложив следовать за ним, он повернулся и начал подниматься в мансарду по темной, расшатанной и скрипящей лестнице. Из двух комнат под крутой крышей Цанн занимал западную, выходящую на высокую стену в конце улицы. Просторная комната из-за немислимой бедности и запущенности казалась еще просторней. Вся обстановка состояла из узкой железной кровати, обшарпанного умывальника, маленького стола, объемистого книжного шкафа, железного пюпитра и трех старомодных стульев. Разбросанные по полу нотные листы, грубые дощатые стены, которые, похоже, никогда не штукатурили, изобилие пыли и паутины создавали впечатление, что помещение скорее заброшено, чем обитаемо. Словом, судя по всему, мир красоты и гармонии Эриха Цанна находился в каком-то другом, воображаемом космосе.

Жестом пригласив меня сесть, немой прикрыл дверь, задвинул солидный деревянный засов и, вдобавок к принесенной с собой, зажег еще одну свечу. Затем, открыв изъеденный молью футляр, извлек виолу и уселся на самый неудобный из стульев. Пюпитр весь вечер стоял без дела: играя по памяти и не предоставляя мне никакого выбора, более часа старик завораживал меня необычными, отличавшимися от всех мне известных композициями, очевидно, собственного сочинения. Неискушенному в музыке

описать их практически невозможно: своеобразные фуги с повторяющимися, в высшей степени пленительными пассажами; однако я отметил полное отсутствие роковых, гипнотических мелодий, которые каждую ночь слышал в своей комнате внизу.

Я прекрасно помнил те странные мелодии и даже часто напевал и насвистывал их (правда, довольно неточно), поэтому, как только музыкант отложил смычок, я сразу спросил, не смог ли бы он сыграть что-нибудь из них. Едва он услышал мою просьбу, как выражение его морщинистой физиономии сатира изменилось: вместо скучающего спокойствия, с которым он играл, вновь появилась та же странная смесь гнева и страха, что и при нашем знакомстве. Расценив это как малосущественные старческие причуды, сначала я решил все-таки склонить его к игре и даже попытался пробудить в нем соответствующее настроение, насвистывая кое-какие запомнившиеся с предыдущей ночи мелодии, однако, увидев реакцию старика, моментально смолк: на его лице появилось выражение, не поддающееся никакому толкованию, а правая рука — длинная, высохшая, костлявая — протянулась к моим губам, делая знак замолчать. В довершение, продолжая демонстрировать свою эксцентричность, он испуганно, будто опасаясь кого-то, взглянул на одинокое занавешенное окно, что было совсем уж абсурдно, ведь мансарда находилась много выше соседних крыш и в нее никак нельзя было проникнуть извне.

Взгляд старика напомнил мне замечание Блан-до, что только из этого, единственного на всей улице окна открывался свободный вид поверх стены, и у меня возникло желание посмотреть на ошеломительную панораму залитых лунным светом крыш и городских огней по ту сторону холма, которой из всех обитателей Осейль мог любоваться только раздражительный музыкант. Я подошел к окну и собрался раздвинуть неопишуемые занавески, как вдруг на меня набросился потерявший голову от страха и ярости немой квартирант: вцепившись обеими руками и кивая в сторону двери, он нервно старался вытолкнуть меня туда. Удивленный и разочарованный, я попросил его успокоиться и пообещал тотчас уйти. Мое возмущение и обида, похоже, остудили гнев старика, и он ослабил хватку. Потом, однако, снова вцепился покрепче — на сей раз дружески — и потянул к стулу. Я сел. В глубокой задумчивости проследовав к заваленному бумагами столу, он взял карандаш и с усилием плохо знающего язык иностранца принялся что-то писать по-французски.

Наконец он вручил пространную записку, где приносил извинения и взывал к моему терпению. Цанн писал, что его, одинокого старика, мучат страхи и нервные расстройства, связанные с музыкой и кое с чем еще. Ему понравилось, как я слушал музыку, и он приглашал заходить, невзирая на его эксцентричность. Вместе с тем заверял, что никому на свете не может сыграть тех странных мелодий и не в состоянии выносить их воспроизведения кем-то другим; кроме того, совершенно не терпит, когда в его комнате начинают трогать какие-нибудь вещи. До нашей встречи в коридоре он даже не подозревал, что в моей комнате слышна его ночная игра, поэтому теперь он просит меня договориться с Бландо и переехать на какой-нибудь нижний этаж, где музыка не слышна. Дополнительные расходы, связанные с платой за квартиру, Цанн предлагал взять на себя.

Продираясь сквозь отвратительный французский, я постепенно проникся

снисходительностью к старику. Ведь он — просто жертва физических и нервных недугов, как, впрочем, и я, а занятия метафизикой научили меня доброжелательности. Внезапно тишину мансарды нарушил легкий короткий стук за окном — должно быть, качнулся ставень на ночном ветру, — но я почему-то вздрогнул, почти так же сильно, как и Эрих Цанн. Закончив читать, я пожал хозяину руку, и мы расстались друзьями.

На следующий день Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, расположенную между апартаментами пожилого ростовщика и комнатой представительного обивщика мебели. Четвертый этаж пустовал.

Скоро я понял, что стремление Цанна почаще встречаться не было таким уж искренним, как мне показалось, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. К себе он не приглашал, а если я приходил сам, держался натянуто и играл апатично. Встречались мы только ночами — днем он спал и никого не принимал. Не могу сказать, что моя симпатия к старику возрастала, все-таки мансарда и странная, зловещая музыка непонятным образом волновали и притягивали меня. И очень хотелось взглянуть из этого окна за стену... на неведомый склон, блестящие крыши и шпили, которые, должно быть, заполняли пространство внизу. Однажды вечером, когда Цанн был в театре, я даже поднялся наверх, но дверь оказалась запертой.

В чем я действительно преуспел, так это в подслушивании ночных концертов старика. Сначала я прокрадывался на цыпочках на пятый этаж, потом осмелел и стал взбираться по скрипучей лестнице до самой мансарды. Там, в тесном коридоре, перед запертой дверью с прикрытой изнутри замочной скважиной я часто слушал музыку, вызывавшую у меня смутный ужас перед какой-то нависшей, постепенно сгущавшейся тайной. В самих мелодиях, в общем-то, не было ничего ужасного — поражали нездешние, явно неземные звуковые вибрации; кроме того, музыка время от времени обретала симфонический размах, вряд ли доступный одному-единственному исполнителю. Гений Эриха Цанна, безусловно, был наделен дикой, сумасшедшей мощью. День ото дня его игра становилась все более бурной, даже исступленной, а сам старик через несколько недель превратился в такое одичавшее и запуганное существо, что на него было жалко смотреть. К себе он меня вообще не пускал, а если мы случайно встречались на лестнице, сторонился и старался побыстрее уйти.

Однажды ночью, стоя у двери в мансарду, я услышал, как пронзительная нота виолы вдруг рассыпалась хаосом звуков. Инфернальная какофония наверняка заставила бы меня усомниться в собственном здравомыслии, если бы из запертой комнаты не донеслось жалкое доказательство реальности кошмара: там раздался жуткий сдавленный крик, произвести который мог только немой и только в мгновение высшего ужаса или нестерпимой боли. Я принялся стучать в дверь, но не дождался ответа. Потом, содрогаясь от страха и холода, стоял и ждал в темном коридоре, пока наконец не услышал слабые попытки несчастного музыканта подняться с пола, опираясь на стул. Судя по всему, он начал приходить в себя после обморока, поэтому я снова принялся стучать, вдобавок — чтобы успокоить старика — выкрикивая свое имя. Я слышал, как Цанн проковылял к окну, закрыл и ставень, и подъемную раму, потом прошаркал к двери и нерешительно ее отомкнул, чтобы дать мне войти. На этот раз он действительно был рад меня видеть: его перекошенное лицо светилось облегчением, и он вцепился в мой пиджак, как ребенок в материнскую юбку.

Жалкий, трясущийся старик усадил меня на стул, а сам в изнеможении опустился на другой, рядом на полу лежали смычок и виола. Некоторое время он просто безвольно сидел, странно покачивая головой, но мне казалось, будто он напряженно и со страхом прислушивается. Затем — похоже, успокоившись — пересел к столу, набросал мне короткую записку и, снова вернувшись к столу, стал быстро, ни на секунду не прерываясь, писать. В записке, умоляя проявить милосердие и взывая к моему неудовлетворенному любопытству, старик просил не уходить, пока он не закончит полного описания на немецком всех обрушившихся на него ужасов и чудес. Я остался сидеть, наблюдая за его мелькающим карандашом.

Приблизительно через час, когда я все еще ждал, а кипа спешно исписанных музыкантом листов продолжала расти, он неожиданно вздрогнул, словно что-то напомнило ему о пережитом потрясении. Совершенно уверен: в этот момент, судорожно прислушиваясь, он смотрел на занавешенное окно. Мне тоже показалось, будто я слышу нечто; но звуки были отнюдь не зловещие, а скорее напоминали тихую, доносившуюся из каких-то бесконечных далей мелодию. Я даже подумал о музыканте в одном из соседних домов или где-то за высокой стеной, куда я ни разу так и не заглянул. Однако на Цанна это произвело поистине чудовищное действие: выронив карандаш, он вскочил, схватил виолу и принялся оглашать ночь самыми неистовыми пассажами из всех, что я слышал в его исполнении, исключая разве подслушанные за дверью.

Я и не пытаюсь описать игру Эриха Цанна той страшной ночью. Это было ужасней всего даже подслушанного, ибо теперь я видел выражение его лица — к подобной игре его побуждал страх, неопикуемый страх... Он старался произвести как можно больше шума в надежде что-то отвратить или заглушить; что именно, я не мог и вообразить, но, должно быть, нечто ужасное. Музыка стала бредовой и фантастичной, яростной и истеричной, сохранив, однако, всю свою поразительную гениальность, которой, вне всяких сомнений, обладал этот немой старик. Я узнал мелодию лихого венгерского танца, весьма популярного в театрах, и тут же понял, что впервые слышу, как Цанн исполняет произведение другого композитора.

Громче и громче, исступленнее и исступленнее становился отчаянный крик и плач виолы. Музыкант покрылся каким-то жутким потом и вертелся, как обезьяна, не отрывая лихорадочного взгляда от занавешенного окна. Бешеная музыка вызывала странные ассоциации: передо мной зримо восставали бушующие бездны облаков, дымов и молний, среди которых кружились в безумных плясках призрачные сатиры, менады, вакханы. И вдруг — иное, пронзительное звучание, но уже не виолы: спокойная, целенаправленная и вместе с тем ироническая мелодия доносилась откуда-то с запада...

В ту же секунду завывающий ночной ветер, сорвавшийся за окном словно в ответ на дикую игру, застучал ставнем. Обезумевшая виола Цанна превзошла самое себя, крича и рыдая в немислимых для этого инструмента тонах. Ставень застучал громче, открылся и стал колотиться о раму. Задребезжало стекло и, не выдержав, лопнуло. В мансарду ворвался холодный ветер, заплясало пламя свечей, на столе зашелестели листы бумаги с начатым повествованием Цанна о своей страшной тайне. Взглянув на старика, я понял, что он уже не воспринимает окружающего: голубые глаза вылезли из орбит и остекленели, а исступленная игра превратилась в слепое, механическое извлечение хаотической оргии звуков, неподвластных никакому перу.

Внезапно сильный порыв ветра сорвал манускрипт со стола и погнал к окну. В отчаянной попытке его спасти я кинулся за летящими страницами, но их выдуло прежде, чем я подбежал к зияющей раме. Тогда я вспомнил о давнем желании выглянуть из этого окна, единственного на всей Осейль, откуда можно было увидеть склон за стеной и раскинувшийся внизу город. Было очень темно, но городские огни горят всю ночь, и я рассчитывал разглядеть их сквозь ветер и дождь. Плясало пламя свечей, смешиваясь с завываниями ночного ветра, безумствовала виола. Я приблизился к окну самой высокой на улице мансарды и выглянул... но не увидел раскинувшегося внизу города, не увидел никаких мирных огней знакомых проспектов, не увидел вообще ничего, кроме безграничной, беспредельной тьмы... невообразимого, чуждого всему земному пространства, полного движения и музыки. Пока я с ужасом смотрел в окно, ветер задул обе свечи, оставив меня во мраке наедине с хаосом пандемониума за окном и демоническим воем виолы, безумствовавшей за спиной.

Посветить было нечем. Пробираясь назад, я наткнулся на стол, опрокинул стул и, миновав эту последнюю преграду, направился туда, где, захлебываясь пронзительной музыкой, истошно визжала тьма. Какие бы силы мне ни противостояли, я хотел по крайней мере попытаться спасти и себя, и Эриха Цанна. Один раз почудилось чье-то холодное прикосновение, я закричал, но крик многократно перекрыла виола. Потом во тьме меня внезапно полоснуло бешеным смычком, и я понял, что музыкант уже рядом. Протянув руку и обнаружив спинку стула, я нащупал и сильно потряс старика за плечо, стараясь привести его в чувство.

Он не отреагировал: виола непрерывно продолжала визжать. Я положил руку на голову старика, дабы сдержать ее механическое покачивание, и прокричал Цанну в ухо, что мы оба должны бежать из этого непостижимого ночного кошмара. Он не ответил и даже не умерил неистовства своей безумной игры, а во тьме мансарды, смешиваясь с какофонией звуков, кружили какие-то странные вихри. Когда моя рука коснулась уха старика, по непонятной причине я содрогнулся — непонятной до тех пор, пока не дотронулся до его неподвижного лица: ледяное, бездыханное, застывшее... выпученные, остекленелые глаза, бессмысленно уставившиеся в пространство... В следующую секунду, чудом отыскав дверь и деревянный засов, я бросился прочь от скрытого тьмой существа с этими жуткими глазами и от потустороннего воя проклятой виолы, чья исступленность только усилилась, когда я ринулся вниз.

Перепрыгивая ступени, скатываясь кубарем, хватаясь за перила, я пронесся по бесконечным лестничным пролетам мрачного дома, выскочил на узкую и крутую улицу и, оказавшись среди покосившихся домов, по булыжникам и ступеням, поскользываясь, падая и тут же вставая, помчался к нижним улицам, к текущей в каньоне кирпичных стен вонючей реке. Задыхаясь, пролетел по темной махине моста и устремился к знакомым проспектам и оживленным бульварам. Воспоминания об этом кошмарном побеге неизгладимы. Еще помню: не было ветра, и не было луны, и свет фонарей, витрин и окон почему-то мигал.

Несмотря на тщательные поиски и доскональные исследования, мне так и не удалось найти улицу Осейль. Но я не очень жалею об этом, а также не очень печалюсь о сгинувших в неведомых безднах исписанных листах — единственном объяснении музыки Эриха Цанна.